The background is a surreal watercolor illustration. It depicts a cityscape with various buildings and structures, rendered in soft, blended colors of blue, purple, and green. Numerous red balloons of different sizes are scattered throughout the scene, some floating in the air and others appearing to be part of the landscape. The overall style is dreamlike and artistic.

ВЕРА НОВИЦКАЯ

ПЕРВЫЕ ГРЁЗЫ

Вера Сергеевна Новицкая

Елена Петровна Самокиш-Судковская

Первые грёзы

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42239532

Первые грёзы:

Аннотация

Книги Веры Сергеевны Новицкой, писательницы рубежа XIX и XX столетий, были широко известны и любимы девочками и их родителями. Вера Сергеевна знала и чувствовала тот мир, о котором она писала, – в течение нескольких лет Новицкая преподавала в женской гимназии. Именно наблюдения за девочками и дали писательнице материал для её работ.

«Первые грёзы» – последняя повесть сборника «Безмятежные годы» о Мусе Старобельской. Читатель вместе с героиней проходит длинный и непростой путь – Муся превращается из беззаботного подростка в увлечённую литературой, испытавшую первую любовь и мечтающую помогать людям девушку. Замечательный и чуткий язык того времени окрашивает эту историю в совершенно особенные краски, перенося нас в тенистый сад дворянского поместья.

Содержание

I	4
II	14
III	26
IV	48
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Вера Сергеевна Новицкая

Первые грёзы

I

Дача. Мои старушки. Дивные вечера

Вот уже почти две недели, что мы на даче. Как здесь хорошо, тихо, уютно, приветливо. Квартира у нас небольшая, но симпатичная. Впрочем, не всё ли равно, какова она? Разве летом сидишь в комнатах? Да никогда. Живёшь в саду, а сад-то у нас такой милый, большой, тенистый; им-то папа с мамой и пленились в поисках за свежим воздухом для своей, по их мнению, всё ещё «слабенькой Муси».

Ближайшая к дому часть – светлая, весёлая, с кустами роз, с каймой сирени по забору, с зелёной сеткой вьющегося по веранде дикого винограда. Немножко глубже – фруктовые деревья, беседка, тоже заросшая густыми, тёмными виноградными листьями. Совсем в конце три-четыре раскидистые старушки-липы, кусты жасмина и малюсенький запущенный прудик, от которого так вкусно пахнет тиной. Там всегда прохлада и тихо-тихо.

В этом громадном саду всего две небольшие дачки: одну

занимаем мы, а в другой живут премилые старушки и, оказывается, мамочкины старинные знакомые, собственно, даже не мамочкины, а бабушкины друзья молодости, которые, однако, гораздо старше даже её; словом, совсем-совсем юные существа, и все три холостые. Старшей, Марье Николаевне, только 76 лет, младшей, Ольге Николаевне, всего 72. С ними живёт ещё их племянница, Елена Петровна, но эта совершенная девчонка, ей каких-нибудь 54 года. Право, серьёзно, тётки так на неё и смотрят, да и самой ей, кажется, вговорили это. Постоянно слышишь: «Вот, Hélène, ты бы себе такую шляпу купила, премило для молодой девушки». И «молодая девушка», хотя шляпы такой не сделала, но по существу не протестовала. Себя самой Ольга Николаевна считает особой «средних лет», всегда так о себе и выражается; только одна Марья Николаевна признаёт себя «пожилой». Правда, никто из них не производит впечатления глубоких старушек, совсем нет. Всегда прекрасно одеты, по моде, подтянуты, не кутаются ни в какие платки и шали, сидят всегда навтыжку, никогда не прилягут ни днём, ни после обеда, играют на рояле, читают, работают, причём – о, чудо! – без очков. Никогда у них ничего не болит, не кряхтят, не стонут, всем интересуются и бегают препроворно; бегали бы ещё быстрее, так как силы у них сколько угодно, но одна беда – страшно близоруки, близоруки настолько, что Ольга Николаевна уселась однажды в стоявшее на табуретке блюдо с земляникой, а сестра её основательно искалечила новую шляпу их

старого друга и приятеля Александра Михайловича. Ужасно милые старушонки, весёлые, доброжелательные, вовсе не чопорные, снисходительные ко всяким дурачествам молодёжи и всем интересующиеся. Но что мои старушенции любят больше всего на свете – это картишки: хлебом не корми, но повинтить дай; играют преотвратительно, лапти плетут, так что даже я, всего две недели присутствующая при этом спорте, вижу, до чего они, бедненькие, швах. Меня просто обожают, не дышат и не живут без своей «*Charmante Мусинька*» (очаровательная Мусинька).

– Вот и солнышко наше ясное восходит, – радушно приветствуют, не столько видя моё появление, сколько слыша шум, очевидно производимый моим приходом.

Сама я страшно люблю их, я им и читаю, всё больше лёгонькие, но чувствительные вещицы, и нитки мотаю, помогаю их пасьянсам выходить, так как без меня они половины недоглядели бы, хожу с ними иногда на музыку, даже – о, ужас! – бримкаю по их настоящей просьбе на рояле, а они уверяют, что «очень мило», «прелестное туше», и просят ещё. Они такие тёплые, уютные.

– Бедная Мусинька, – всё за меня сокрушаются они, – никого из молодёжи, милая девочка должна ужасно скучать, всё-таки мы для неё не совсем подходящее общество, только характер у неё такой покладистый, что она всем довольствуется... *Elle est charmante, la petite*, – заканчивается обычным припевом.

– Вот, бог даст, через некоторое время наш племянник Nicolas приедет, тогда будет с кем порезвиться и поболтать, – сулят они мне.

Милые мои старушечки, совсем они напрасно скучают за меня, самой мне ужасно как хорошо, и на душе ясно, и кругом тоже. Куда ни посмотри, всюду светло, красиво. Эта холодная, запоздалая весна, на которую так ворчали все, какая же она умница, что задержалась в своём прилёте и что только теперь, когда мы уже здесь, на даче, явилась красивая, сияющая.

Смотрю и глаз не могу отвести от цветущих фруктовых деревьев. Эти пушистые цветы-снежинки особенно нежно выделяются среди мягкой хризолитно-зелёненькой листвы. Как давно не видала я их! Как люблю я эти светлые, чуть народившиеся листики! Миллиарды благоухающих белых цветов кажутся девственно-чистой воздушной фатой, в которую нарядилась красавица, невеста-Весна, счастливая, жизнерадостная, ласковая, благоухающая. А вот и жених, златокудрый красавец Царь-Солнце. Он любовно глядит на неё, улыбается ей радостной светозарной улыбкой, и улыбка эта озаряет всё кругом, алмазами горит в росинках цветов, серебром отливается на блестящей поверхности вод. И до глубокой ночи не может солнце расстаться со своей наречённой, не может отвести восторженного взгляда от чарующей её прелести. Только совсем поздно, когда она, притихшая, притомившаяся блеском долгого дня, замирает в тихой дре-

ме с улыбкой блаженства на устах, тогда на краткий миг преклоняет и он свою златокудрую голову; но очей не смыкает он, глядит, не наглядится на свою суженую, будто ревнивым оком оберегает её от взгляда соперника.

Так ясно-ясно представляется мне всё это; чудится, верится, что яркое солнце, и нарядная цветущая весна, и синее небо – всё это дышит, чувствует, живёт, любит. В такие дни всё кажется необыкновенным, производит особое впечатление, как-то сильнее чувствуешь, воспринимаешь всё.

Сколько прочла я за это время, не со старушками своими, а сама – одна. Но вечерам как-то особенно читается: щёки горят, руки холодные, к сердцу приливает что-то тёплое, приятно-щемящее, и точно куда-то вверх, высоко-высоко поднимает тебя. Углубишься в книгу и не видишь, как притихнет всё кругом, как повиснет в воздухе прозрачная, серебристо-белая ночь и на плечо опустится маленькая милая рука, рука мамочки.

– А ты всё ещё читаешь, Муся? – говорит она.

– Да, читала, – отвечаю я и крепко целую её беленькую, нежную ручку, а она обнимает меня. Вокруг нас тихо-тихо, хорошо-хорошо. Молча стоим мы так некоторое время.

– Больше не читай, детка, на ночь вредно, потом не заснёшь долго. Так не будешь?

– Не буду, мамуся.

– Спокойной ночи.

Мы опять крепко обнимаемся, и она уходит.

Я облокачиваюсь о перила веранды. Я думаю о Лаврецком, о Лизе, моя душа полна их образами, сердце – их чувствами. Как печальная, в душу проникающая мелодия, отдаются во мне слова того кусочка из «Дворянского гнезда», где описывается возвращение Лаврецкого, когда Лизы уже нет. Он вышел в сад, сел на скамейку, где некогда провёл с Лизой дивные, незабвенные часы. Потом он в доме подходит к роялю, ударяет по клавишам, и нежно звенит нота, нота, с которой начиналась та вдохновенная мелодия, которую Лемм, покойный Лемм, играл в ту памятную ночь. Мне хочется плакать... и сладко, и больно...

Как хороша должна быть любовь, высокая, чистая, возторженная... Она представляется мне в образе светло-бе-локурой, сияюще-белой девушки, которая охватывает душу своим нежным ласковым объятием и вдувает в неё что-то лёгкое, прекрасное, тёплое!.. В эту минуту мне хочется, чтобы меня тоже полюбил кто-нибудь, полюбить самой и чтобы дрожала душа, пела так баюкающе, нежно...

Лиза, чистая, светлая Лиза... И вдруг образ этот кажется мне таким близким, родным, знакомым. Чем сильнее напрягаюсь я, чтобы вызвать облик Лизы, тем яснее выступает предо мной другой, такой же чистый, идеальный образ, образ Веры. Да, и Вера так же поступила бы, и она не задумалась бы отказаться от личного счастья ради блага другого...

Но вот настала ночь, короткая и такая сказочно-прекрасная. Задремало-таки солнышко, а соперник близко. Затума-

ненный грустный лик месяца бросает свои скорбные взоры на цветущую весну, ласкает её своими манящими, таинственными, холодными лучами. Но красавица не встрепнётся под его взором, она весёлая, жизнерадостная, останется верна его беззаботному сияющему красавцу-брату. Одинок и печален мечтательный месяц; но он не покажет своей горести легкомысленной красавице, не даст посмеяться над собой. Вот медленно плывёт он к бабушке, туче серой, и, полный скорби, прячет свой затуманенный лик в её колени. Одна она пожалеет его, поймёт его горе. Много слёз уже пролила она над судьбой своего любимца-неудачника. Всё-всё расскажет он ей, а она в бессильной тоске разразится громким рыданием и уронит свои тяжёлые, холодные слёзы на грудь цветущей красавицы.

Спи спокойно, солнышко! Твоя милая не изменит тебе. Но ему всё же не спится. Вот приподнимается оно, хмурое, точно встревоженное, но, осмотревшись кругом, улыбается светлой зорькой.

Как хорошо!!

Совсем близёхонько от нас живёт и тётя Лидуша со своими малышами. Леонид Георгиевич и папа приезжают только по субботам, так как в этом году у них на службе заводятся какие-то преобразования и дела масса. Сергульку и Таню тоже болезнь прихлопнула: хватили ещё в посту коклюш, после чего их скорей выпроводили на дачу, так как, говорят, в подобных случаях перемена места лучший целитель. Сильно

подросли детишки, такие славные.

Забегая часто к тётё Лидуше, забираю её младенцев вместе с нянькой. Отправляемся мы в парк, где страшно веселимся. Серёжа, по крайней мере, уверяет, что ему «никогда в жизни» так весело не бывает, как с «мамой-Мусей». Парк здесь великолепный, большой, разбросанный; терпеть не могу этих чопорных, по линейке размеренных парков, где всё искусственно и рассчитано. И здесь есть цветники, мостики, беседочки, лебеди, но пусть в некоторых местах они себе и будут, это ничему не мешает; зато есть и широко раскинувшиеся лужайки, и открытые поля с ещё зелёной маленькой рожью, и клевер, и колокольчики, и жёлтые одуванчики, с ярко торчащими среди травы золотыми головками. С малышами мы направляемся, обыкновенно, к качелям, гимнастике и тому подобным прелестям; здесь, как букашки, копошится целая масса им подобных сверстников, играет днём специально для них музыка. Тут своего рода клуб малышей, они знакомятся, играют (по счастью, не в винт), иногда... дерутся с новыми знакомыми... Для меня это, обыкновенно, бывает самым большим развлечением; но у красных и переконфуженных предков сих боевых младенцев вкус, кажется, другой.

Серёжа наш знакомится преимущественно не столько с детьми, сколько... с собаками. Право. Это, очевидно, прямое наследие от крёстненькой, которая и теперь зачастую останавливается где придётся, чтобы без предварительного пред-

ставления крепко пожать хотя и мохнатую, но честную, благородную руку какого-нибудь приглянувшегося ей четвероногого красавца. Конечно, можно беспрепятственно сколько угодно трясти лапы нашего собственного Ральфика, который неизбежно сопровождает нас, но он свой человек, это не так интересно, мы ищем более новых и сильных впечатлений.

Прельстился как-то Сергуля маленькой чёрной собачонкой, Жулькой, единственной дочерью бездетной, тоже чёрной, но большой дамы, которая почему-то всегда приводит на детскую музыку своего остроморденького ребёнка. Мальчуган Жульку эту и ласкал, и тискал, и бумажки от леденцов ей с картинками показывал, и – кажется, не вру – не то стихи, не то сказки ей рассказывал; наконец настала минута разлуки. Смотрю, малыш мой собаку под мышку, направляется к её мамаше, вежливо так шаркает и говорит:

– Пожалуйста, позвольте вашей Жульке сегодня вечером прийти к нам чай пить. Она (он красноречиво ткнул собаку пальцем в лоб) тоже хочет. Пожалуйста!

Дама моя чуть не умерла от смеха; уж она целовала-целовала его. Я тоже потом разок-другой чмокнула его. Страшно мило. Как благовоспитанный мальчик, он обратился прямо к родителям за разрешением. Ну как скучать в такой компании?!

Часто пишу письма и Любе, и Вере, а потому дневник в значительном загоне; для записывания самое приятное время – вечер, но вечером всё приятно... А, например, забрать-

ся в глубину сада на уютную скамеечку, усесться около пруда, который как-то особенно приятно пахнет после заката солнца, тихо-тихо кругом, так хорошо думается... Или ещё вещь, которую обожаю, это громко самой себе читать стихи. Как начну своего любимца «Демона» или «Полтаву» с её чудной украинской ночью, всё на свете позабуду, унесусь далеко-далеко, собственный голос кажется чужим, глубоким, таинственным.

А мои старушечки всё стонут, чтобы Nicolas их скорей приезжал и я не скучала больше. Только бы он не помешал мне, их так щедро сулимый Nicolas!

II

Таинственный незнакомец.

Прогулки на велосипеде

Свершилось. Приехал он, знаменитый Nicolas, так часто мысленно призываемый моими старушками для избавления меня от воображаемой ими скуки, – говорю: «мысленно призываемый» потому, что приезд его не был следствием их зова, а результатом случая, – хорошего или нет? – покажет время. Да, оказывается, что «племянник» моих приятельниц на поверку приходится им «внуком». Бедные старушечки совсем сбились со счёта времени, они совершенно искренно не допустили бы нелепой мысли, что могут быть бабушками. Они? Бабушки? Quelle idée!..

Как-то вечером, напившись предварительно дома чаю и побродив основательно по саду, направляюсь я проведать своих соседкушек. Миновав балкон и гостиную, я, удивлённая, останавливаюсь в дверях столовой. За круглым столом мне видна комфортабельно расположившаяся белая спина, коричневый кусок затылка, чёрные стриженные волосы и чёрная, широкая лента, придерживающая подвязанную левую руку; правая же добросовестно над чем-то работает. Я в недоумении, не более ли благоразумно обратиться вспять, но появление моё, по обыкновению, услышано.

– А, Мусичка, вот кстати! А нам такой приятный сюрприз: Nicolas неожиданно приехал, – радостно сообщают старушки.

При их словах белая спина приподнимается, правая рука усиленно возит по физиономии салфетку, и взору моему взамен коричневого затылка представляется столь же коричневая физиономия.

– Боже мой, вы откуда взялись?! – удивлённая, спрашиваю я: передо мной собственной персоной Коля Ливинский, который здесь называется «Nicolas».

– Как? Вы знакомы? – радуются почему-то старушки.

– Ну да, и даже очень.

Я всё же рада, что таинственным незнакомцем оказался именно он, – мало ли какое замороженное чучело могло приехать. Минутная суматоха устранена, все опять сидят. Раненый воин наш добросовестно «трудится над курчонком» и, надо полагать, уже не первым, о чём свидетельствуют три обглоданные ножки среди груды прочих косточек.

– Вы что ж это, с войны? – указываю я ему на чёрную перевязь.

– Да, прямёхонько; воевал с собственной неловкостью и, как видите, вышел не победителем. Прислан сюда на попечение родных и «добрых знакомых».

– Но что же с вами именно?

– Да, видите ли, умудрился так ловко прыгнуть с лошадки, что руку вывихнул: хорошо ещё, что не переломал, – отвеча-

ет он, не выпуская из здоровой руки куричьего крылышка.

– Да, конечно, – соглашаюсь я. – Главное же, что это печальное событие не отразилось, слава богу, на вашем аппетите, – больше не выдерживаю я. Все смеются.

– Да я, собственно, уже почти сыт. Много ли человеку надо: два-три, ну, скажем, четыре цыплючка (больше я сразу никогда не съедаю) и убогаторён человек, – никто не видал, как Бог напичал. Ну-с, а теперь, подкормившись, я чувствую некоторую бодрость и прилив сил, поэтому, если тётушки позволят встать, мы бы немножко в саду погуляли.

– Конечно, Nicolas, пожалуйста. Но ты, может быть, ещё чего-нибудь скушал бы?

– Ma tante!!! – трагическим голосом восклицает Николай Александрович, делая выразительный знак глазами в мою сторону. – Вы меня губите... при барышне!.. – затем, нагнувшись к её уху, громким шёпотом: – Только вы, ма-танчик, всё же ещё не приказывайте со стола убирать, гм... гм... Чего, знаете ли, на свете не случается, да ещё с воином, да раненым, да после такого перегона. Но это... между нами... гм... гм...

– Хорошо, хорошо, – смеётся Ольга Николаевна, – а пока поди с Мусичкой в сад, она тебе его покажет.

– Всё же это чрезвычайно интересно, что мы с вами так неожиданно встретились, – уже в саду говорит он.

– Да, страшно потешно, – соглашаюсь я. – И главное, сто раз слышу: вот приедет Nicolas! Nicolas – то, Nicolas – сё,

куда ни повернись, всё – Nicolas.

– И вам в голову не пришло, что это я внук своих бабушек!

– Фи, «бабушек»! Кто же так неделикатно выражается! Небось, в глаза так «тётушки». – «Тётушка, ещё кусочек цыплёночка», – передразниваю я, – а за глаза...

– Виноват, больше никогда, никогда не буду. Так вы не подозревали, что знаменитый «племянник» я.

– Ни-ни, то есть в голову не приходило. Слышала, что военный, без пяти минут офицер, как сказал бы Володя, зовут Nicolas, но, знаете, всё это такие приметы... Подобными субъектами хоть пруд пруди. А фамилию и в голову не пришло спросить. По правде говоря, меня очень мало интересовал этот неведомый мне типик: ну, думаю, притянется какое-нибудь чудище морское, только всё лето мне испортит...

– Мерси!

– Да не за что, тем более что это не к вам и относилось. А сегодня вдруг смотрю, глазам не верю...

– И что же?

– Да ничего, гораздо-гораздо лучше, чем я ожидала. Знаете, это всё-таки хорошо, что вы себе руки поломали! – восклицаю я. – Ведь вам не очень больно?

– Теперь уже нет.

– Ну, так и совсем, значит, хорошо.

– Да я и сам вовсе не в претензии и на судьбу не ропщу, – смеётся он.

С этого дня прошло уже две недели, и мы с Николаем

Александровичем успели сделаться друзьями. Впрочем, нам больше ничего не остаётся, так как, волей-неволей, мы целый день вместе: иду я в библиотеку менять книги: «Nicolas, ты бы проводил». Я на почту: «Проводи же, Nicolas». «Марья Владимировна, я отправляюсь на вокзал смотреть программу музыки на сегодняшний вечер, может, вы бы прогулялись? Погода божественная». Иду. В городе мамочка ни за что не пустила бы меня прогуливаться одной с молодым человеком, а здесь – «имеет сельская свобода свои особые права». Я даже папиросы училась набивать, так, ему за компанию, но искусство это оказалось мне не под силу: искалечив до неузнаваемости штук десять злополучных гильз, из одиннадцатой я, наконец, сфабриковала нечто, имеющее отдалённое родственное сходство с папироской, после чего забастовала... Я так привыкла, что везде и всегда со мной Николай Александрович, что мне даже странно, если его нет, и я посматриваю, куда он девался. Он хороший, простой и такой весёлый. Постоянно смешит меня всякими глупостями. Третьего дня, например... Впрочем, надо не с третьего дня, а раньше начать.

Дело в том, что доктор велел мне как можно больше свежего воздуха и моциона; на этом основании папа купил мне велосипед, а Николай Александрович взялся учить меня; сам он великолепно ездит. Когда, наконец, его «раненая» рука пришла в порядок, начался наш первый сеанс. Дело шло сравнительно прилично, и третьего дня последовал мой пер-

вый самостоятельный комический соло-выезд.

Николай Александрович, в качестве ангела-хранителя, берёт под уздцы моего железного коня и пресерьёзно обращается к горничной:

– Дуняша, скажите дворнику, пусть возьмёт лопату, корзину и идёт за нами на случай чего, барышню подобрать.

– Слушайте, Николай Александрович, если вы так будете смешить меня, когда я уже сяду на велосипед, то я непременно шлёпнусь.

– Помилуйте, Марья Владимировна, что ж тут смешного? Мера предосторожности.

– Николай Александрович, ради бога! – молю я, делая всевозможные усилия вскарабкаться на велосипед – самое трудное в этом искусстве.

– Ну хорошо, не буду, не буду; с этой минуты я говорю только печальные вещи. Вот, например, посмотрите на эту даму.

– Где?

– Налево, в белом костюме на самом припёке и без зонтика.

Я вижу поразительно прямую, худую и бесконечно длинную особу.

– Знаете, почему она без зонтика?

– Ну?

– Она его проглотила. Право-право. Теперь все дамы это делают; посмотрите на их фигуры – мода. Прежде, в стари-

ну, говорят, аршины глотали, а теперь перешли на зонтики, удобнее, мягче.

Взобраться на велосипед при таких «грустных» разговорах немыслимо.

Раз, два, три... Наконец-то! Сижу. Метнулась вправо, метнулась влево и пошла описывать зигзаги. Боже, как я в эту минуту сочувствую всем пьяницам! Что может быть труднее прямого направления? Хотя геометрия и гласит, что прямая наикратчайшая, но, надо добавить, и наитруднейшая, во всяком случае для велосипедистов и членов общества нетрезвости. Уф! Поехала прямо.

— Отлично, отлично, очень хорошо, так и продолжайте, — одобряет летящий из предосторожности рядом со мной на собственной паре ангел-хранитель. — А теперь берите влево, влево к больнице, мимо помещения дежурного врача, это самое благоразумное, потом немножко влево к артели упаковки и переноски мебели, по крайней мере, мы гарантированы, что так или иначе, но домой доставлены будем.



РАЗ, ДВА, ТРИ... НАКОНЕЦ-ТО! СИЖУ. МЕТНУ-
ЛАСЬ ВПРАВО, МЕТНУЛАСЬ ВЛЕВО И ПОШЛА ОПИ-
СЫВАТЬ ЗИГЗАГИ

Вот противный человек!

Дружеским объятием охватив серебристый тополь, с ко-
торым судьба, по счастью, деликатно свела меня, я слезаю со
своего самоката. Ох, неправда, вовсе это не самокат, – ещё
как упирается, а коли сам и катится, то именно туда, куда не
нужно.

Теперь я совершенно прилично езжу, и мы с Николаем
Александровичем совершаем большие прогулки. Несёшь-
ся быстро-быстро. Как приятно! Дух захватывает, а кругом
мелькает высокая, стройная, уже слегка колосящаяся рожь,

заманчиво сверкают приветливые синенькие глазки василька.

Мы делаем маленькую станцию где-нибудь под тенистым деревом. Николай Александрович затягивается папироской и вполголоса что-то напевает; у него такой приятный, мягкий баритон.

Я смотрю на милые васильки, потом наверх, на ясное бирюзовое небо, на перламутровые искрящиеся облачка, резвящиеся на нём. Как я люблю глядеть на них! Как грациозно скользят эти лёгкие белые тени! Вот высокие, стройные девушки в воздушных хитонах; нежно обнявшись, точно задумавшись, тихо бредут они, а кругом толпы маленьких беленьких деток, резвятся, обгоняя друг друга, нагоняя светлых девушек; и большие серебристые, крупные, как орлы, птицы реют над их головами... Вот выплывает снежная колесница, и в ней опять девушки стройные, лёгкие, чистые... Чудится мне, что это беззаботные, блаженные души живут, наслаждаются в ясной лазури и смотрят вниз, на далёкую печальную землю, которую они покинули... Печальную? Разве земля печальна? Нет, никогда, она так хороша, так приветлива, так красива!..



ТЕПЕРЬ Я СОВЕРШЕННО ПРИЛИЧНО ЕЗЖУ, И МЫ С НИКОЛАЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ СОВЕРШАЕМ БОЛЬШИЕ ПРОГУЛКИ

– О чем задумались, Марья Владимировна? – слышу я голос.

– На облака засмотрелась... Я так люблю смотреть в небо. Правда, как красиво?

– Да, хорошо, замечательно хорошо! – говорит он мечтательно, но он не глядит на небо, он долго пристально смотрит на меня, и в глазах у него точно грусть.

– Что с вами? – чуть не срывается у меня с языка, но почему-то я не спрашиваю.

Между тем с ним что-то да есть, он последнее время стал другим. Да, так вообще, на людях, он тот же: дурит, шутит, рассказывает всякий вздор, но, как только мы остаёмся наедине, он почти всё время молчит или говорит что-нибудь серьёзное, даже грустное, и голос у него другой становится: глубже, тише. Странно, и на меня это действует, и я как-то притихаю, даже не хочется ни смеяться, ни шутить, ни дразнить его; если же иногда что-нибудь вырвется, глупость какая-нибудь, он не рассмеётся, только тихо-тихо так улыбнётся, и мне станет неловко за свою весёлость, точно сделала что-то неуместное, даже неделикатное. Странно.

А вчера? Какой был красивый, ясный-ясный вечер.

Словно блёстки, рассыпались по всему небу крупные звёз-

ды. Я одна-одинёшенька сидела в саду и думала. Сирень расцвела, пахло зелению, весной, где-то далеко заливался соловушка. Тихо-тихо, даже голосов с улицы не слышно.

Вдруг отчётливо зазвенели в тишине шпоры, мелькнул огонёк папироски, и со ступенек стал медленно спускаться белый китель.

Николай Александрович подошёл и безмолвно сел рядом со мной на скамейку; я тоже молчала. Он долго, пристально смотрел на небо и вдруг тихо так, как он иногда говорит, начал:

Небо тихо, небо ясно,
В небе звёздочка горит.
Не люби её так страстно!
Для тебя ль она горит?
Для меня ли? – я не знаю,
Но при ней мне так светло!
Близ неё я не страдаю,
Без неё – мне тяжело...

Он точно ронял эти слова, такие мягкие, звучные... Неужели это своё? Неужели вот сейчас, глядя на глубокое горящее небо, вылились у него из души эти стишки? Как тепло и просто. Точно светло стало и на душе, точно и там зажглась звёздочка. А кругом всё та же тишина, душистая, ласковая...

III

Неожиданность. Офицер. Любины тревоги. Чучело. Среди цветов

Я-то злюсь, я-то браню Любу, что она мне целую вечность не пишет, а тут вдруг, нате, как снег на голову, без всякого предупреждения она вместе с Сашей и нагрянула. Вот за это люблю, молодцы! Приехали они как раз перед самым завтраком. Ну, конечно, сейчас их за стол; экстренно вытребовали сюда же Николая Александровича.

Люба премиленькая в своём золотисто-коричневом костюме, в жёлтенькой, канареечного цвета, блузке, которая страшно идёт к её карим, искрящимся золотой искоркой глазкам; по обыкновению, кокетливая и грациозная, как кошечка. Терпеть не могу никакого кривлянья, но то, что проделывает Люба, мне ужасно нравится; она не ломается, но как-то плутовато-ласково вскинет глазками, сложит губы розовым бантиком, и получается такая милая, задорно-кокетливая мордашка. Не преминула она бросить два, три таких взгляда в сторону Николая Александровича, после них полетело несколько шпилечек, таких удачных, и пошла болтовня. Где она – там всегда весело.

– Слышите, слышите? Приближается наш дневной соловей. Целёхонький день заливается своей поистине сладкой

мелодией; вот сейчас раздастся: «Моро-о-жено!» – и затем, тоном ниже, соблазнительно нежно: «сливочное, щиколадное, крем-брюлетовое, тюки-фрюки, суперфлю с ванилью, не пожелаете ли, вашей милости купить?» – слащаво растягивая слова и идеально подражая интонации Михайлы, изобразил Николай Александрович.

Едва закончил он свой концерт, как точь-в-точь с теми же приёмами завопил настоящий мороженщик. Невозможно было не расхохотаться.

Напитав и усладив «крем-брюлетовым» и «щиколадным» своих гостей, мы отправились прогуливать и знакомить их со всеми достопримечательностями парка. Пошли, конечно, по-дачному, без шляп и перчаток, как и все здесь ходят, поленились на сей раз взять с собой даже зонтики, так как денёк был серенький, солнце спряталось, но и дождём не грозило. Массу смеялись и болтали всяких глупостей. Коля рассмешил нас, рассказывая, как во времена о́ны, будучи ещё мальчуганом лет восьми, живя в имении у своих родителей, он с двумя гостившими у него товарищами устроил штуку. Приехал однажды к отцу его по делу один крестьянин-кулак, которого все терпеть не могли; сам пошёл в дом, лошадь же с довольно нарядной бричкой оставил около сарая.

– У нас, – рассказывает Николай Александрович, – в это время ремонт производили, вот и приди нам гениальнейшая мысль: «давай отремонтируем и Шкурина, окажем ему дружескую услугу; коли он такая скареда, так мы ему даром об-

новление произведём». Притащили ведёрца – давай малевать карафажку, но красили только одну половину, ту, что к сараю обращена, другую же не трогали, так что, если со стороны посмотреть, – всё будто и в порядке. Одно колесо намазали ярко-зелёным, под цвет нашего забора, другое жёлтым, под цвет дверей, передок разрисовали красным, точь-в-точь наша крыша, на боку изобразили жёлтые горохи на зелёном фоне, а задок изукрасили зелёным полем с красными горохами. Получилось нечто обворожительное, величайшее произведение художества. Для ансамбля отремонтировали и лошадку: гриву мазнули жёлтым, хвост зелёным; вот это-то нас и погубило. Усовершенствование брички он сперва даже и недоглядел, сел и погоняет себе. Вдруг смотрим, поворачивает, сам краснее кузова, вылезает да прямо на нас.

– Ах вы, мол, бессовестные парнишки, думаете, что барчата, так над бедным человеком издеваться можно! – пошёл, пошёл. Один из наших сотрудников-художников струсил, да давай Бог ноги, а мы храбрости набрались и говорим:

– Вы напрасно так сердитесь, мы знаем, что вы человек бедный (а он страшно богат), мы ничего и не возьмём с вас, ни за материал, ни за труд, мы так, по-приятельски.

Тут он до того распетушился, что из красного лиловым стал; кто его знает, пожалуй, прошёл бы последовательно через все цвета радуги, но мы уже этого превращения не видели, так как он понёсся жаловаться на нас.

– Что же, хорошо досталось? – осведомляемся мы.

– И-их, не говорите; уши после разговора с родителем как маки расцвели, – поясняет рассказчик, – кроме того, для умерения наших творческих порывов посадили нас (меня и живущего у меня товарища, так как пришлый благоразумно умчался домой) наверх в две, хотя и разные, но соседние комнаты, да и на ключ заперли. Недолго в тоске пребывали мы; не успели даже ещё уши мои принять своей обычной, Богом данной всему человечеству окраски, как мы пришли к заключению, что прежде всего следует открыть окна для общения как между собой, так и с внешним миром. Вдруг делаем величайшее приятнейшее открытие в этом самом внешнем мире. На крыше кухонного крылечка, которое приходилось как раз между нашими одиночными камерами, – о, прелесть! – стоит и распускает пары ещё горячий, только что сваренный компот, поставленный на известную высоту, как у нас всегда принято делать, чтобы не съели собаки. Действительно, ни одна собака не прикоснулась. Шнурки штор были немедленно обращены в удилища, на концы их прикреплены крючки, которыми всегда богато снабжены бывали наши карманы, и компотная ловля вышла очень удачной.

Как тут не смеяться?

Между тем вздремнувшее солнце не вовремя надумалось бросить на нас свои благодетельные лучи, не обращая никакого внимания на то, что, не рассчитывая на такое внимание с его стороны, мы вышли без зонтиков.

– Господа кавалеры, будьте галантны, одолжите ваши фу-

ражки! – вопит Люба.

– А в самом деле.

Колина фуражка уже направляется в мою сторону, но Саша опережает его и суёт свою:

– На, Муся, мою возьми, Колина тебе велика будет.

Я беру и надеваю её чуточку набекрень, по-юнкерски. Николай Александрович всё ещё держит в руках свою и пристально, укоризненно, как почему-то мне кажется, смотрит на меня.

– Я думала, вы галантнее, Николай Александрович! Неужели же мне так и печься на солнце? – протестует Люба.

– Ради бога, простите, Любовь Константиновна, я иногда такой страшно рассеянный... – Он протягивает ей свою фуражку.

– Да, с не-ко-то-рых пор! – вскинув глазками, значительно подчёркивает Люба. Она тоже слегка набок надела шапку, что ей ужасно-ужасно к лицу.

Саша, который в духе и доволен, что я *предпочла*, как он думает, его шапку, и в рассказах не желает отставать от другого кавалера.

– Нет, что я вам расскажу, господа, вот умора! Что кадеты наши в зоологическом саду устроили, и я с ними был, ей-богу, был вот теперь весной. Штук этак нас восемь собралось. Туда-сюда, потом пошли слонов кормить; презанятно это, как он ручкой своей да в рот. Уже копеек на 25 булок скормили, адски прожорливое существо, ну, а финансовое

положение кадета известно, самое бамбуковое. Сунул одну руку в карман:

– А что, господа, если письмо дать, съест?

Дали. Ест, ей-богу, ест! Вывернули карманы наизнанку, ещё нашли. Второе, третье. Там, смотрим, слонище кочевряжиться начал; мы ему бутербродец: булочку с открыткой, – поехало; коночные билеты, и говорить нечего, все пережевал. Что бы ещё дать? Один решается пожертвовать свой носовой...

Вдруг физиономия Саши принимает глупейший вид, фигура его тоже как-то неестественно вытягивается, одна рука растерянно тянется ко мне, вслед за тем словно приклеивается к его левой ноге; из уст вылетает молящим шёпотом слово «шапка», как только потом сообразили мы.

С Николаем Александровичем происходит почти такая же, только чуть-чуть менее карикатурная перемена: оба уподобляются даме, проглотившей свой зонтик.

– Господи, не с ума ли сошли? Кажется, нигде ничего страшного?

Из боковой аллеи мчится чудный пойнтер, которого я успеваю похлопать по коричневой в белую крапинку голове, в нескольких шагах за ним молодой, очень стройный и элегантный военный. Вот он, страх-то! Будем выручать своих простоволосых кавалеров. Как по уговору, мы с Любой устраиваемся, одна по правую, другая по левую сторону дорожки, каждая невдалеке от своего кавалера, и «козыряем»

офицеру, тогда как Коля и Саша, не имея возможности приложить руку к «пустой голове», вытягиваются в струнку и по военной команде «едят глазами» своё начальство. Офицер, видно, не задира и весёленький; ему, кажется, самому смешно: он улыбается и очень любезно отдаёт честь. Нам весело и смешно до упаду.

– Дура, ты всегда наскандалишь! – едва скрылись офицерские пятки, петушится Саша, кидаясь на сестру, которая заливается хохотом.

– Во всяком случае, «дуру» свою раздели пополам, – вменяюсь я, – так как их было две.

– Да чего ты злишься? Не съел тебя твой шнапс-капитан, – огрызается Люба.

– Да понимаешь ли ты, что это великий князь!

– Что-о?

– Как?

Мы поражены.

– Ну да, это великий князь собственной персоной, – говорит Николай Александрович. – Уж мы-то его прекрасно знаем, это наше прямое начальство. Но, пустяки, пожалуйста, о нас не беспокойтесь, ничего неприятного выйти не может, он милейший, добрейший человек, сам, вероятно, не меньше нас смеётся теперь над всем происшедшим.

Нет, это прелесть, это восторг! Вот так отличились!

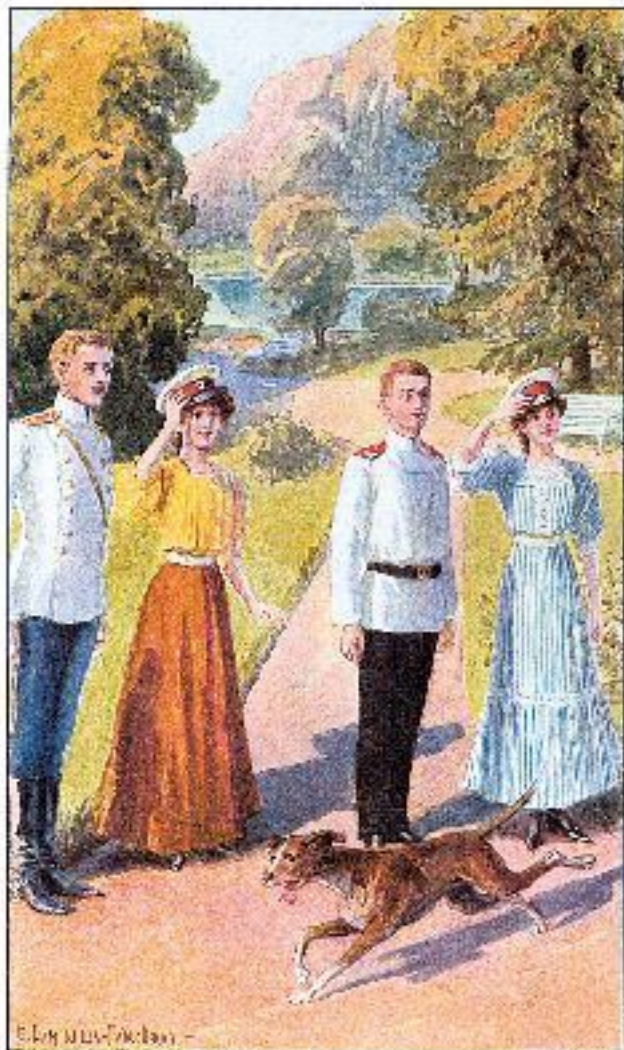
Дома рассказ наш производит впечатление, все очень смеются.

Уже совсем поздно. Мы лежим с Любой в своих постелях, но сна ни в одном глазу, ни шутить, ни дурачиться нет настроения, мы устали за день от шума и смеха; хочется побеседовать, поделиться впечатлениями, поговорить по душе. Люба подробно рассказывает мне своё житьё-бытьё в имении бабушки, куда вскоре после их приезда явился бесследно было исчезнувший после рождественской исповеди Пётр Николаевич. Отчасти вкратце я уже знаю всё это из писем, но в словах её проскальзывает, а главное, в самом звуке их слышится мне нечто новое.

– Что ж, – спрашиваю я, – больше у тебя никакого объяснения с ним не было?

– Объяснения? Ты, значит, не имеешь ни малейшего понятия о том, каковы наши отношения. Да он совершенно не замечает меня, я бы для него вовсе не существовала, если бы не те удобные и неудобные случаи, когда он может говорить мне колкости, почти дерзости... Удивляюсь только, откуда у него находчивость теперь берётся? Прежде чуть не полчаса, бывало, ждёшь, пока он шутку какую-нибудь сообразит, а тут не успел повернуться – шпилька, обмолвишься, не так что-нибудь скажешь – насмешка, едкая такая, от которой у него даже в глазах что-то загорается. Я, положительно, лица его даже не узнаю, точно подменили его, право. Всегда весёлый, острит, откуда что берётся. За барышнями... особенно за одной, там такая отвратительная белобрысая кривляка есть, так и увивается, просто смотреть противно, а та

млет...



МЫ С ЛЮБОЙ УСТРАИВАЕМСЯ, ОДНА ПО ПРАВУЮ, ДРУГАЯ ПО ЛЕВУЮ СТОРОНУ ДОРОЖКИ, И «КОЗЫРЯЕМ» ОФИЦЕРУ

Голос Любы слегка дрожит. Я поражена.

– Не может быть, Люба! Тебе, верно, кажется. Ведь он так любил тебя.

– Значит... не любил, – голос её срывается. – Нет, *кажется* мне не теперь, а казалось раньше, на Рождестве, но только казалось...

Она на минуту замолкает.

– Всякие прогулки затевает, – снова начинает она, – всюду так распорядителен, расторопен, ну а царицей везде, конечно, она, его белобрысая кривляка. Понимаешь, до чего дошло: спектакль хотели ставить, «Дорогой поцелуй», так он, видишь ли, роли распределяет: «Прекрасно, Евгения Андреевна возьмёт, само собой разумеется, молоденькую дамочку, а Любовь Константиновне можно дать горничную». Понимаешь?... Она «возьмёт» даму, а мне «можно дать» горничную. А? Недурно?... Конечно, я отказалась. Теперь в воскресенье в лес прогулку затевают; как только узнали, что мы уезжаем, так он нам на дорогу и преподнёс это: на, мол, без тебя, нарочно без тебя.

Бедная Люба, как она всё это близко к сердцу принимает! А почему? Просто досадно ей, задето самолюбие или, быть может, теперь он ей нравиться стал? Боюсь, что последнее,

уж очень грустная нотка дрожит у неё в голосе.

На следующий день Любиной всегдашней весёлости, игривости, заразительного смеха почти не замечалось; вид у неё был рассеянный, даже озабоченный. Впечатление ли это, оставшееся от нашего ночного разговора, или что другое? Разошлась и развеселилась она немного, только когда удалась по адресу Николая Александровича одна штучка.

Влетает Саша, оживлённый, красный, и прямо к нам:

– Любочка, Мусинька, милые, золотые, хорошие, ненаглядные, тряхоните мозжечками, придумайте что-нибудь Николая надуть. Пожалуйста. Ради бога! Мне это необходимо! Мы с ним, понимаете ли, на пари пошли, что я его надую, а пари адски важное для меня, потому, – если я выиграю, – вы не можете себе представить, какая тогда прелесть будет! Думал я, думал, ни с места, – бамбук один получается. Ну, помогите, а нет, так я сейчас навру на вас чего-нибудь Николаю: вот пойду и скажу, что застал вас чуть не дерущимися из-за того, кого из вас он, Николай, больше любит. Вот скажу, ей-богу, скажу, нисколько не постесняюсь. Да это и правда будет, потому что, если вы не хотите идти против него, значит, вы влюблены в него.

Нам смешно, но в глубине души мы потрухиваем, потому что Саша, разозлившись, вполне способен выкинуть такую штуку.

– Чего ты как гороху из мешка насыпал, даже нам рта разинуть не дал? Мы вовсе и не собираемся протестовать;

успокойся, пожалуйста, если мы в кого и влюблены, то, очевидно, по твоей же теории, в тебя, потому что становимся на твою сторону и все сообща идём на страх врагу, – говорю я. – Только вот что придумать?

Несколько минут мозги напряжённо работают.

– Давай посадим ему в комнату чучело и наплетём какую-нибудь душещипательную историю, – предлагаю я.

– Отлично! Виват многодумная Муся! – кричит Саша.

– Да, да, – вдруг оживившись, с блестящими глазами подхватывает и Люба. – Только мы сделаем, Муся, твоё чучело, да, да, да! Непременно! Это будет страшно смешно. Я всё устрою.

– Да, но Николай должен думать, что устроил я, что я надул, слышишь? Ты не смей ему говорить, а то...

– Спрячься ты, пожалуйста, со своими вечными угрозами, вот отвратительная привычка! Будет, будет думать, что ты, успокойся!

Всех размеров подушки, пледы, платки и платочки, скомбинированные в известном соотношении и одетые в моё розовое летнее платье, только что снятое для этой цели с меня живой, довольно удачно изображают меня фальшивую. Раздобыта даже от тёти Лидуши чёрная коса, прикреплённая к воротнику платья и свешивающаяся ниже пояса (спасибо, и нам хоть на что-нибудь пригодилась эта модная принадлежность).

Чучело-Муся посажено в укромный уголок всегда полу-

тёмной, тенистой беседки и предусмотрительно повёрнуто спиной ко входу. На голову довольно не по сезону наброшен красный шерстяной шарф, чтобы скрыть овал чудного личика – торчащего клока подушки – и не менее прелестной округлости головы; к нему же приколоты изнутри, со стороны щёк, кисти рук, так как голова склонена на руки и изображает меня плачущей. Муся же настоящая послана стоять позади беседки и следить за произведённым впечатлением.

– Николай Александрович, – несколько таинственно подзывает его Люба, – вы не знаете, где Муся?

– В эту минуту – нет. Я видел, так с полчасца назад, как Марья Владимировна пошла в дом.

– А назад она не шла?

– Кажется, нет.

Вид у Любы делается ещё таинственнее.

– Знаете, Николай Александрович, я так встревожена за Мусю, она недавно прошла туда, по направлению к беседке, вся в слезах...

– Что вы говорите? – перебивает он её.

– Да, да, представьте себе, плакала, а, вы знаете, ведь она вообще никогда не плачет. Так, видите ли, почему я именно вам говорю про это: немного раньше она всё искала вас, всё добивалась, где вы, я и подумала, может, вы скажете ей что-нибудь... может, вы знаете...

Люба выдохлась и начинает мямлить, но он уже не слушает.

– Вы говорите, она в беседке?

Люба утвердительно кивает головой и старательно сморщивается, чтобы укрыть свою хохочущую физиономию.

Быстро дойдя до беседки, Николай Александрович останавливается у порога.

– Марья Владимировна!

Молчание.

– Марья Владимировна, что с вами? – тревожно и тихо спрашивает он.

Чучело молчит, но не-чучело, стоящее за виноградной изгородью, слышит эти слова, видит взволнованное лицо, блестящие глаза, и у него почему-то сильно-сильно начинает биться сердце.

– Марья Владимировна, вы не хотите даже говорить со мной, вы сердитесь на меня! Ради бога, что с вами? – Он осторожно касается руки куклы. В ту же минуту всё выражение его лица меняется, он начинает смеяться.

Я чувствую себя смущённой и неловкой в своей засаде; мне не хочется, чтобы Николай Александрович знал, что я была свидетельницей происшедшего, вместе с тем я рада, что видела, что именно я и только одна я видела: мне было бы неприятно, если бы ещё кто-нибудь заглянул в его лицо, услышал голос, которым он разговаривал с куклой.

– А что? А что? Не надул? Не надул? Проиграл пари! Тот вот и есть! – выскочил, на моё счастье, ликующий, сияющий Саша и с хлопаньем ладошей и прочими выражениями

восторга повёл его к дому.

– Ну что, Муся, Расскажи, Расскажи, как всё было, – нетерпеливо допытывается Люба.

– Когда я ничего не видела, опоздала, заслушалась, как ты ему тут турусы на колёсах разводила, прибежала, а он уже стоит и смеётся, – вру я, а щёки мои предательски краснеют; по счастью, Люба не смотрит.

– Николай Александрович, Николай Александрович! Ну-ка, расскажите, расскажите нам, как вам Мусю утешить удалось.

Я не подхожу, стою в сторонке и усердно ошипываю несчастный куст, мне как-то ужасно неловко.

В этот день, кроме Саши, всё ещё ликовавшего из-за выигранного пари, никому почему-то не хотелось ни шуметь, ни дурачиться. Люба, разгулявшаяся было немножко, снова окончательно вышла из своей тарелки, вид у неё делался всё озабоченнее, и, хотя раньше она предполагала пробыть у нас ещё и весь следующий день, заговорила об отъезде. Николай Александрович больше помалкивал, часто и продолжительно смотрел на меня. Он как-то открыл портсигар, чтобы закурить. Саша тоже протянул свою лапу:

– Курнём, брат Николаюшка! Должен, должен дать! Сегодня, брат, отказывать не моги, потому проштрафился, плати, значит, контрибуцию, – и он хотел взять самую крайнюю папироску.

– Нет, извини, этой не получишь! – живо прикрыл её паль-

цем Николай Александрович. Уж коли непременно хочешь, бери другую.

– А эта у тебя что же, талисман, что ли?

– Вот именно, угадал.

Он бережно приподнимает её, и я узнаю ту самую искаленную, бесформенную папироску, которую когда-то сфабриковала.

– Это мой талисман, она у меня заветная, заколдованная, – подчёркивая, произносит Николай Александрович и пристально-пристально смотрит на меня.

Опять, как в беседке, быстро-быстро стучит моё сердце и, чувствую, краснеют щёки...

Спрятал... сохранил... а я и забыла про неё... Что же это?..

Снежины, невзирая на все наши уговоры, на протесты, чуть не угрозы Саши, всё же уехали в тот же вечер. Бедной Любе было не по себе. Видимо, у неё болела душа, которая всё время витала дома, в деревне; мысль о завтрашнем дне, о «воскресенье», в которое без неё должна была состояться так мучившая её прогулка в лес, была выше Любиных сил; она сказала, что чувствует себя очень плохо, боится расхвораться, и уехала. Вид у неё был действительно скверный.

Конечно, тяжело ей было, больно, верю, но я бы не вернулась раньше времени. Показать тому, кто на меня смотреть не хочет, что я не могу без него лишнего дня прожить? Присутствовать на прогулке, на которой хотели, чтобы именно

меня не было? Нет, я бы этого не сделала, все бы слёзы потихоньку ночью в подушку выплакала, но чтобы никто, никто не знал.

Бедная Люба, ей грустно, а мне так, так хорошо на душе.

Проводив Снежиных на вокзал, мы с мамочкой зашли на минутку к тётё Лидуше; Николай Александрович отправился прямо домой. Через полчаса вернулись и мы. Мамочка пошла винтить к моим старушкам, где на обращённой к улице большой стеклянной веранде стояли уже два зелёных столика и горели в колпачках свечи.

Закинув домой зонтик, я пошла в сад. На дворе было так хорошо. Проходя, я видела сидящую на ступеньках фигуру в белом кителе, но не окликнула его, а он, не знаю, заметил ли даже меня.

Я прошла в самую глубь сада в свой любимый уголок, который в полном смысле слова казался в этот вечер уголком рая; он весь утопал в цветах. Кусты жасмина стояли в полном цвету, покрытые крупными, выпуклыми, белыми звёздами, будто смотрящими своими жёлтыми сердцевинками, словно игрой природы занесённые сюда в разгар лета хлопья серебристого снега, благоухающие, нежные, чуть-чуть колебались они на матово-зелёных, бархатистых кустах, а около скамеечки и повсюду кругом широко раскинулось, словно покрытое лёгкой рябью, волнующееся озеро прозрачных белых головок тмина; высоко-высоко разрослись они и, нежные, кружевные, казались белой жемчужной пеной на поверхности

светло-зелёной зыби.

Над головой безмятежное небо, всё в ярких алмазных искорках, всюду тихо, тихо, упоительно тихо...

Вдруг среди этой тишины раздаются звуки глубокого, мягкого баритона, и несутся чудные слова. Николай Александрович поёт:

День ли царит, тишина ли ночная,
В снах ли тревожных, в житейской борьбе,
Всюду со мной, мою жизнь наполняя,
Дума всё та же, одна, роковая, —
Всё о тебе!

С нею не страшен мне призрак былого,
Сердце воспрянуло, снова любя,
Вера, мечты, вдохновенное слово,
Всё, что в душе дорогого, святого, —
Всё от тебя!

Будут ли дни мои грустны, унылы,
Скоро ли сгину я, жизнь загубя,
Знаю одно, что до самой могилы
Мысли, и думы, и чувства, и силы —
Всё для тебя!

Чудные звуки лились, нежные, дрожащие, как тончайшие серебряные струны, и, колебля мягкую тишину ночи, замирали где-то вдали, будто рассыпаясь мелодичной серебряной пылью.

Он замолчал. Опять тихо, совсем тихо...

Мне кажется, что всё это сон, красивый, благоухающий, что я в каком-то заколдованном царстве. Но вот лёгкий, совсем лёгкий звон, ещё, ещё; такой равномерный, будто приближающийся... Я уже явственно различаю звук шпор. Среди дремлющих деревьев мелькает тёмный силуэт; ещё минута, и совсем близко от меня раздаётся голос:

– Вы тут, Марья Владимировна? Я так и знал, вернее – чувствовал, что вы должны быть непременно тут, и меня тоже неудержимо повлекло сюда.

Он говорил так тихо-тихо, мягко...

– Что за вечер! Это вечер грёз, снов наяву! – снова начал он.

– Да, хорошо! – уронила я.

– Как давно мы с вами не виделись, Марья Владимировна! Вы так удивлённо смотрите на меня?.. Да, конечно, мы виделись, мы обедали, гуляли, шутили, смеялись, но это не то, я этого не считаю: я не видал вас, вот как сейчас, одну, в такую минуту, когда кроме меня никто вас не видит, когда можно говорить по душе или даже просто молчать, и это имеет свою прелесть. Что пережил я за сегодняшний день! Когда Любовь Константиновна вдруг подзывает меня и говорит, что вы плачете в беседке, что сперва всё спрашивали, где я, вид у вас был такой расстроенный, а потом вдруг плачете, – я не знаю, что произошло со мной, я совершенно потерял голову. Что я сделал? Что мог я сделать такого, чтобы она плакала, плакала из-за меня? Не знаю, какой ценой я

готов был искупить каждую эту слезинку, вашу слезинку... И когда я пришёл в беседку, когда увидел фигурку в знакомом розовом платице, с так печально склонённой, как показалось мне, головкой, сердце моё дрогнуло от боли...

Он помолчал.

— Знаете, странно как: ведь это была шутка, вы не плакали, это были даже не вы, а у меня осталось чувство, точно это пережито на самом деле, будто что-то действительно случилось, произошло между нами. Я сегодня целый день под этим впечатлением.

Он опять помолчал.

— Марья Владимировна, ну, скажите мне что-нибудь, скажите, что я не огорчал вас, что вы не сердитесь на меня... Взгляните же на меня хоть разочек!..

— Да, конечно же, не сержусь и не думаю. За что же? — улыбаясь, проговорила я и подняла на него глаза.

Боже, никогда ещё не видала я его таким: всё лицо было точно одухотворённое, глаза казались громадными, глубокими, там светилось нечто особенное, такое, отчего, заглянув в них, я почувствовала, как что-то ударило меня в сердце, и оно громко-громко застучало... Больше он ничего не говорил; мы сидели молча, но я чувствовала, что он всё время смотрит на меня. А кругом было так тихо, тихо, так упоительно красиво: казалось, будто со всех сторон захлестнули нас пенящиеся волны целого озера зыблющихся зелёных стебельков, усеянного по поверхности миллионами прозрач-

ных жемчужных брызг.

И сейчас всё это рисуется передо мной: и эта ночь, и его лицо, глубокий бархатный голос, большие лучистые глаза... Как всё это красиво!

Люба несколько раз повторяла мне, что Николай Александрович любит меня. Неужели правда?.. Любит? Любит? Господи, как мягко, как красиво звучит это слово: лю-бит!.. Он меня любит!.. Меня любит!.. От этих слов что-то так нежно дрожит в душе... Любят его глаза и ясно, тепло светятся... любит его голос, и песнь его звучит глубоко, мягко, ласково... Как любовь украшает, облагораживает, возвышает! Как красива любовь!..

IV

Сама с собой. Весёлое нашествие. Сумасшедшие дни

Уже больше двух недель, как Николай Александрович уехал; отпуск, данный на поправку искалеченной руки, истёк, и его потребовали в лагерь. Теперь он вернётся уже офицером. Как странно подумать: юнкера Николая Александровича, того, которого я постоянно привыкла видеть, этого юнкера я больше никогда не увижу...

Вот я и опять одна, то есть в том смысле, что со мною нет моего всегдашнего верного спутника, к которому я так привыкла. До сих пор никак не могу приучить себя к этой мысли, всё мне кажется, что вот сию минуту зазвонят шпоры, потянет лёгкой струйкой табачного дымку и войдёт он, такой, каким я привыкла его постоянно видеть. Всё не верится, что уехал; ушёл – да, но вот сейчас и вернётся. Выйду ли в сад, – что это? Николая Александровича китель бежит? Ах да, ведь его нет! Мелькнёт ли вдали над кустами что-нибудь красненькое а, Николая Александровича красный околышек! Опять нет. А как завопит Михайло-мороженщик своё – «тюки-фрюки, щиколадное, крем-брюлетовое, суперфлю с ванилью» – так кажется, сию минуту и Николай Александрович повторит за ним. Его ужасно всегда за-

бавлял Михайлин припев. Да, по правде говоря, целый день только про Nicolas и слышишь: старушечки мои опять сокрушаются о моём одиночестве и всё утешают и себя, и меня, что скоро уже он вернётся. А верно, пусть бы уж поскорее приезжал, ничего решительно против не имею. Ну да уж теперь недолго ждать, всего два-три дня. Только всё же ошибаются они: скучать я вовсе не скучаю.

Опять мы гуляем с Сергулькой и Таней, играем и дурачимся. Я читаю своим старушечкам, очень много читаю сама и прозы, и стихов. Как-то недавно что-то нашло на меня, я даже сама написала большое стихотворение «Мечта». Подолгу я также сиживаю на нашей с Николаем Александровичем любимой скамеечке, и каждый-то раз, подходя к ней, не могу отделаться от какого-то чуть-чуть тревожного ожидания: вдруг он там сидит на ней? С тем же чувством заглядываю в густую тенистую беседку, и всегда, сколько бы раз ни прошла мимо, непременно кину глазом. Большую часть времени я провожу там, в самой глубине сада, где хотя жасмин и тмин давно отцвели, но так привольно, так легко читается, пишется, думается, и думы всё такие светлые, ясные...

Просыпаешься каждое утро, и сейчас же начинаешь соображать: что же случилось такого радостного, хорошего?.. Да ничего не случилось, просто жить так хорошо, так легко, отратно, дышится так свободно, полной грудью... Впрочем, нет, не просто *так* жизнь хороша: приятно сознавать, что тебя любят, вспоминают о тебе, тоскуют по тебе... а я думаю,

что это так. Как хорошо сказано у Тургенева: «Бесконечно сладко сознавать себя единственным источником всех радостей и горестей другого». Да, *единственным*; чтобы верить и чувствовать, что ты для него и солнце, и свет, и воздух, что «мысли, и думы, и чувства, и силы — всё для тебя»...

А может быть, вовсе не думают, не тоскуют и... не любят?? Ведь он мне этого не говорил... Прямо, да, конечно нет... Ну а эти чудные стихи про «звёздочку», что так непроизвольно вылились из его груди?.. А то, как пел он: «День ли царит»?.. Сколько чувства, глубокого чувства, дрожало в его голосе, и пел он это для меня, да, да, я знаю, что для меня... А потом на скамеечке? Его глаза, всё его преображённое лицо?..

Фу, как глупо, до того размечталась, что наяву грежу — опять мелькнул белый китель... Что это? Не один, а даже целых два.

Нет, это не бред, не сон, а самая настоящая действительность — ведь это Коля с Володей! Откуда? И на три дня раньше?..

Вот они уже в двух шагах от меня, наши молодые, вновь испечённые офицерики.

— Здравия желаем! Честь имеем явиться! — и, приложив руку к козырьку, оба вытягиваются в струнку.

Какие же они славные, складные, аккуратненькие военные! Физиономии их так и сияют, веселье дрожит в каждой жилке, в каждом мускульчике лица, глаза так и искрятся.

Глядя на них, и меня охватывает громадное, неудержимое веселье, хочется прыгать, вертеться, дурачиться. Впрочем, всё это мы в точности и выполняем.

Володя с Николаем Александровичем производят впечатление не выпущенных офицеров, а принятых в корпус и сияющих от восторга малышей-кадетов. Я помню, как тогда дурил Володя, но здесь он превзошёл самого себя и буквально ходил на голове.

Чествовали с шампанским наших офицеришков один день у нас, на следующий все собрались к моим старушкам, потом пригласили нас всей компанией друзья-приятели Ольги и Марьи Николаевны; скука была там, в сущности, адская, но мы чуть не умерли от смеха.

– Ну-с, знаете ли, с честью обновил я свой офицерский мундир, – в день же приезда за обедом у нас рассказывает Володя. – Еду это я из Москвы в Петербург, с шиком, значит, во втором классе, уже не на солдатском положении. Влез в некурящий вагон, оглядел публику: гм... слабо... Смотрю, у одного окошка сидят два декадентских женских типика: у одной зубы как клавиши, хоть ты мелодии разыгрывай, я даже мысленно примерился на «Вот мчится тройка удалая» – как раз клавиатуры хватает. Откровенная такая особа: губа к носу подъехала, а содержимое всё наружу. У соседки её причёска с большой претензией, шляпа этаким модным не то фургончиком, не то балаболой, сзади точно колёсики, а на отлёте, как на пасхальной бабе, красуется клюквенного

цвета роза. Два места vis-a'-vis пусты, — очевидно, не рискуют ехать спиной к паровозу, опасаясь свернуть с прямого пути и попасть «в Ригу без билета». Оно, конечно, даром, но... Одним словом, у всякого свой вкус. На следующей скамейке у другого окошка ещё две особы женского пола. Та, что полевей, очевидно, пожила уже порядочно, во всяком случае, достаточно, чтобы перепутать заветы Священного Писания; вместо того, чтобы лишить возможности свою правую руку ведать, что делает левая, она старается, чтобы левый глаз её не узнал, что творит правый, и они, верите ли, преискусно избегают друг друга, только иногда, на один краткий, но сладкий миг, дружно сосредоточатся на кончике носа своей повелительницы. Случается это главным образом в те мгновения, когда она заслушается неотразимо интересной болтовни своей правой соседки; у той речь льётся, как из водочки; однако мне, как непосвящённому, кроме упорного «сю-сю-сю» ничего не удалось разобрать; оказывается, девица подшепётывает. Положеньице! И поговорить не с кем! Остаётся ещё один и последний субъект, пожилой полковник, уныло удалившийся в противоположный угол вагона. Что ж, будем вместе горе мыкать!

Подошёл. Шаркнул. Познакомились. Два, три вопроса. Не из болтливых, он то есть, я-то — увы! — да.

— Что, полковник, и вы, видно, невесело время проводите, — сочувственно начинаю я. — В дороге одно развлечение — хоть поболтать всласть и этим дорожную скуку размыкать, и

вдруг – извольте полюбоваться (следует красноречивый жест моей руки по направлению четырёх граций) – этакий букет представительниц, с позволения сказать, «прекрасного пола»!

Мой собеседник как-то растерянно взглянул на меня, покраснел, промычал нечто не то отрицательное, не то утвердительное и, прежде чем я успел изречь ещё что-либо не менее негодующее, направился к юной особе с колёсиками и её собеседнице.

– А что, вам не дуется? Может, окошко закрыть? – заботливо осведомляется он.

– Нет, папочка, мерси, не надо, – дуэтом благодарят почтительные – о, ужас! – дочери его. А-а?! Недурно? Мне показалось, что окружающая меня температура поднялась до 200 градусов по Реомюру. Вот в положении влетел! Хоть в трубу полезай! Да, на беду, и трубы нет. Повертелся я, повертелся, да давай бог ноги, в курящее отделение, туда же больше ни-ни, и уже новых знакомств не заводил, десятому закажу...

Тут появляется шампанское; тосты, пожелания, ура, которое громче всех в свою собственную честь вопят бенефицианты. Ко мне с бокалом в руке подходит Николай Александрович:

– Чего же вы мне пожелаете, Марья Владимировна?

– Конечно, всего, всего хорошего и исполнения всех ваших желаний, – отвечаю я.

– У меня только одно-единственное желание, но такое большое! Выпейте же за его исполнение. – И он опять пристально, особенно так смотрит на меня.

– Ну вот, сегодня за производство милых офицеров пили, а годика через два, бог даст, и на свадьбе кого-нибудь из них попируем, – говорит Ольга Николаевна.

– На моей едва ли, – я закоренелый старый холостяк, а вот Николай, тот живо замуж выскочит, долго в девицах не засидится, уж и теперь, воображаю, сколько юных сердец трепещет и сохнет по его эполетам.

Я чувствую, что глупейшим образом краснею, злюсь и от этого краснею ещё больше. Не дай бог, Володька заметит – житья не будет, я его как огня боюсь.

– И прекрасно; пускай женится, чем раньше, тем лучше, – одобряет Марья Николаевна, – лишь бы выбор удачный сделал.

Я, усердно жуя мороженое, хотя это, кажется, излишний труд, внимательно разглядываю крохотные ванильные пылинки, темнеющие в нём. Предательская краска опять приливает к моим щекам, и внутри что-то шевелится, сама не знаю что.

Но задумываться не дают ни в этот, ни во все следующие дни, вплоть до отъезда Володи. Дом наш, положительно, обратился в сумасшедший дом: такие всё время болтали и вытворяли глупости наши молодые офицерики, особенно Володя – как с цепи сорвался.

Когда мы были у приятелей наших старушек, там собралась преимущественно молодёжь не старше 75 лет, которая засела за скучнейший, снотворнейший винт по десятиллионной. Священнодействие началось. Мертвящей скукой веяло кругом. Бедная мамочка чуть не умерла с тоски, а мы от смеха.

– Вот, господа военные, вас это интересовать будет, я хотел показать вам своё охотничье ружьё, то есть, знаете ли, замечательное, – стараясь позабавить наших юношей, стал подробно выкладывать им всю биографию сего оружия премилый и добрейший старичок-хозяин.

– Что, в самом деле интересный экземпляр? – спрашиваю я, когда тот опять уселся за карты.

– Замечательный, оригинальнейший и единственный в своём роде экземпляр, – громко, несколько восторженно, начинает Володя, – и старинный!.. Это – то самое ружьё, которым Святополк Окаянный Александра Македонского убил, – несколько понижает он тон. – Теперь даже, к сожалению, таких больше и не делают, – снова громко возглашает он, и сейчас же тихонько: – Потому что ни у одной самой глупой тетерки не хватит терпенья ждать, пока наконец оно выстрелит.

– Володя, ради бога, ведь он услышит! – с ужасом останавливаю я. – Ты так громко говоришь, что у меня от страха прямо душа в пятки уходит.

– С этим, матушка, не шути, дело скверное, может и со-

всем выскочить, коли чулки дырявые. А у тебя по этой части того-с... не ладно.

– Вздор говоришь! – Мне смешно, но я краснею и злюсь немножко, потому что стесняюсь сидящего рядом со мной Николая Александровича.

– Нет, не вздор, а правда.

– Неправда, никогда подобного со мной не случается.

– Правда, и всегда бывает. Да даже и не одна дырка, а две – в каждом по одной.

– Отстань! Убирайся!

– Вот и видно, что ты женщина, и логика у тебя женская. «О женщины, женщины!» – сказал ещё Шекспир, и совершенно справедливо. Ну-ка, думни разок: коли бы дыр не было, как же ты влезла бы в чулки свои?

Вот и толкуй тут с ним!

Финальный номер этого вечера был тоже хорош. Наконец нас отпустили домой.

– Что, весело было? – выйдя на улицу, смеясь, спрашивает мамочка.

– Страшно! А-а-а-а-а! – зевает один.

– Замечательно – о-о-о-о-о! – зевает другой.

И пошли нарочно зевать, да как!.. Глядя на них, и мы с мамочкой чувствуем, что нам в челюстях щекотно делается, и мы поддерживаем компанию, но уже искренно и невольно. Смеёмся и зеваем, зеваем и смеёмся прямо до слёз. По счастью, улицы мертвы, – ни души. Подбодрённые нашим со-

чувствием, кавалеры входят в азарт и делают вид, что засыпают на ходу: руки свешиваются, голова безжизненно опускается. Нежно охватив один – тополь, другой – уличный фонарь, прижавшись к ним головой, они якобы мирно и сладко спят, даже бредят.

– Господа, ради бога! Подумают, что мы ведём домой двух пьяниц, – смеясь, умоляем мы.

Будто с величайшим трудом, отпускают они свою опору и, сделав два-три нетвёрдых шага, заключают в свои объятия следующие фонари. Это было безумно смешно, но слава богу, что ни одна живая душа, кроме нас, не видала этого представления.

Иной день, бывало, до того досмеёмся и додурачимся, что уж нет больше сил хохотать.

– Господа, ну посидим тихонько, почитаем что-нибудь, – прошу я.

– Читнём! – соглашается Володя. – Николай, чтн. Впрочем, бери газету, а я другую, по очереди, у кого что интересное найдётся. Самое любопытное обыкновенно здесь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.